

которые характерны для марксистской концепции Возрождения и Реформации.

Таким образом, первый том рецензируемого сборника свидетельствует, что византиноведение в Германской Демократической Республике еще не полностью преодолело идеалистическую методологию. Но вместе с тем несомненно, что византилисты ГДР настойчиво стремятся овладеть единственно научным методом исторического исследования — методом исторического материализма. Организация группы византинистов при Берлинской Академии наук и конференции, подобной той, которая имела место в мае 1955 г., помогут в этом нашим немецким коллегам.

М. Я. Сюзюмов

* * *

Следует отметить прежде всего, что среди опубликованных в рецензируемом томе византиноведческих работ пять имеют прямое отношение к русско-византийским связям и затрагивают важные проблемы культуры и литературы русского народа в древнейший период его исторического существования. Если мы добавим к этому, что еще ряд статей касается вопросов, непосредственно относящихся к изучению истории и культуры балканских и закавказских народов, то можно смело сказать, что устремления и интересы византиноведов в Германской Демократической Республике в значительной мере обусловлены их вниманием к культуре прежде всего русского народа, других народов Советского Союза и стран Народной демократии. Это делает византиноведческие исследования немецких ученых особенно интересными и для советских читателей.

И еще одно хочется отметить, прежде чем переходить к разбору отдельных статей. Думается, что идейный и моральный лейтмотив всего сборника в целом хорошо выражают слова автора одной из опубликованной в томе работ — Карла Розе: „Жизнь народа напоминает жизнь дерева, в котором один слой нарастает вокруг другого. Поэтому прошлое народа — не просто прошлое, не просто уже исчезнувшее и не существующее — это часть современной его жизни. Все в ней имеет свое значение — прошлое и настоящее: одно не может существовать без другого.

Во всех научных исследованиях, касаемся ли мы исторического материала или вопросов современности, нас должно воодушевлять пламенное желание находить и отыскивать истину...

Литература народа — это ключ к его душе. И народ можно только тогда понять, когда наряду с прослеживанием внешнего хода его истории углубимся в лабораторию его духовной и умственной жизни и проникнем в сокровищницу его духа.

Для нас сегодня это вопрос жизни. Ибо мы, немцы, сейчас так близко соприкоснулись с русскими и узнали друг друга, как никогда раньше в нашей истории, и поэтому имеет громадное значение для нашего будущего, если мы, немцы и русские, взаимно поймем и изучим друг друга. Ведь взаимное понимание — это первое необходимое условие всякого сотрудничества и совместной работы. Отдать свои силы и труды этому делу требуют не только доводы разума, это должно вытекать также из потребности сердца“.

Открывающая сборник работа Гертруды Белиг (G. Böhlig) посвящена соотношению элементов живой народной речи и классического

литературного языка в эпоху греческого средневековья (стр. 1—13). Автор указывает, что у греков „двухязычие“ приобретает своеобразные черты благодаря тому, что его источником является историческое развитие одного и того же языка, который предстает перед нами в двух формах: так называемой народной речи и литературного, или „чистого“, греческого языка. При этом народная греческая речь противопоставляется литературному языку не в качестве какого-либо диалекта или говора, а как живой и непрерывно развивающийся язык, противопологаемый его окостенелым и искусственно остановленным в своем развитии, подражающим античности формам. Поэтому, как правильно замечает Г. Белиг, следует прежде всего точно установить, что именно мы имеем в виду и под народным и под „чистым“ языком применительно к византийскому периоду.

Примерно с XI в., когда начинают появляться в изобилии письменные источники простонародного характера, нам относительно легко определить, что именно представлял собою народно-греческий язык средневековой эпохи, но труднее обстоит дело для предшествующего времени. Правда, мы имеем возможность опираться на данные папирологии, а позднее — на язык византийских хроник, в которых в большей степени заметны черты народного языка, чем в произведениях других жанров. Однако при этом не следует забывать, что во всех памятниках мы имеем дело с постоянным смешением просторечных языковых черт с элементами классического литературного языка. Что же касается понятия „чистый“ язык, то в этом отношении воззрения греческого средневековья существенно отличались от нашего понимания того, что именно следует разуметь под классическим периодом греческого языка. Так называемый „чистый“ язык обычно именуется в византийскую эпоху „аттическим“ (ἀττικῶς) и противопоставляется народному „общему“ (κοινῶς). Но само понятие „аттический“ в течение истории менялось. Обычно этим понятием охватывалась определенная совокупность грамматических и фонетических явлений, как например: правильное употребление двойственного числа медиума и опатива, употребление предлога εὔν, вместо οὖν, сочетание согласных ττ и ρρ вместо σσ и ρσ. Иногда в антитезу ἀττικῶς — κοινῶς включается еще третье, промежуточное звено — ἐλληνικῶς. В списке авторов, язык которых рассматривается в качестве „аттического“, имеются такие имена, как Платон, Фукидид, Аристофан, Софокл, Демосфен, но наряду с этим и Гомер, и даже Григорий Назианзин (IV в. н. э.). Гомеровский язык, хотя и не был аттическим, противопоставлялся средневековыми греческими писателями современному им языку как язык „древних“, как язык „поэтический“. Таким образом, Ποιητικῶς становится полным синонимом к ἀττικῶς. В статье приведены такие грамматические формы, которые, по общему мнению средневековых авторов, воспринимались в качестве „образцовых“ и „поэтических“.

Характерным для „аттического“ языка средневековой эпохи, в противоположность народному, считается: 1) употребление значительного числа слов, уже не употребительных в эпоху создания койнэ и 2) наличие классических, в эпоху койнэ уже начавших колебаться грамматических форм и моделей словообразования. Указанные языковые элементы благодаря школьной традиции продолжали удерживаться в литературном языке вплоть до падения Константинополя, т. е. до середины XV в. Это происходило в результате той литературной выучки, которую в какой-то степени проходили все, писавшие на греческом языке. Однако все эти приобретенные авторами в результате школьного обучения языковые навыки обязательно смешивались с элементами по-

вседневной речи современников. Наряду с этим у большинства писателей нередки и так называемые гиператтицизмы, порою сознательно допускавшиеся ошибки: подчеркнутое употребление двойственного числа, редуцированное образование так называемого будущего третьего вместо обычного будущего, будущее медиальное вместо пассивного и др. Эти формы, никогда не существовавшие в живом языке классической эпохи, искусственно создавались авторами средневековья, щеголявшими своей грамматической вышколенностью.

В результате своего исследования Г. Белиг приходит к такому выводу: в литературе греческого средневековья не было „аттицизма“ в качестве искусственного воскрешения древности, не было „чистого“ языка; был только непрерывно развивающийся, живой народный греческий язык и наряду с ним и в нем самом — образцовый стиль классицизма, который различным образом, в зависимости от особенностей времени, литературного жанра и индивидуальности пишущего, оказывал воздействие на литературный язык.

Отметив высокие научные достоинства статьи, проявляющиеся главным образом в филологической точности и сжатости изложения, мы должны добавить, что метод и выводы ее в какой-то степени поучительны и для исследователей, занимающихся изучением древнерусской литературы и древнерусского литературного языка. И древняя Русь вплоть до XVII в. знала своеобразное „двуязычие“. Однако в отличие от греческого языка византийской эпохи, в котором взаимно противопоставлялись две ступени развития одного и того же языка народности, в древнерусскую эпоху роль „образцового“ языка, воздействовавшего на древнейший письменный язык, развивавшийся на народной основе, принадлежала общеславянскому литературному языку, первоначально образовавшемуся на южнославянской диалектной основе, языку старославянской церковной письменности, который во всех странах, где он употреблялся, смешивался с элементами народной речи.

Следующая небольшая заметка (стр. 14—16), принадлежащая перу Эриха Клостермана и Гейнца Бертольда (Erich Klostermann und H. Berthold) останавливает внимание читателей на латинских заимствованиях в литературном языке византийской эпохи, иллюстрируя их примерами из проповедей Макария Египетского (Симеона) и некоторых других памятников.

Автор третьей статьи Урсула Трой (U. Treu) посвятила свое исследование употреблению предлога *ἀπό* с винительным падежом (стр. 17—23). В классическом языке этот предлог всегда употреблялся только с родительным падежом. В новогреческом же он употребляется, за исключением отдельных устойчивых фразеологических сочетаний, только с винительным. Ссылаясь на примеры из словарных и грамматических пособий и из литературных произведений, автор указывает, что данное грамматическое явление должно быть датировано эпохой между концом VI в. и началом VIII в.

Статья Иосифа Шютца (J. Schütz, стр. 24—26) касается отражения в сербохорватской ономастике византийского имени Комнин и одновременно с этим уточняет хронологическое приурочение происходящей в южнославянских языках диссимиляции сочетания согласных *mn* в *ml*, которая обычно относится учеными лишь к XVI—XVII столетиям. Приведенные в статье факты позволяют отнести это диалектное языковое явление среди сербохорватских говоров к значительно более раннему периоду: к рубежу XII—XIII столетий.

Первый раздел сборника, посвященный языкознанию, заключает статья Ганса Йенсена (H. Jensen) „О древнеармянском произношении букв *kh*, *ph*, *th*“ (стр. 27—38). Автор, ссылаясь на примеры из греческого и коптского языка, убедительно показывает, какой именно звук соответствовал армянским буквам для придыхательно-глухих согласных.

Переходим к работам, отнесенным в сборнике к разделу литературоведения. Раздел открывает статья Франца Дорнзейфа (F. Dornseiff), посвященная рассмотрению вопроса о подлинности или подложности так называемого „Письма Адриана“, находящегося в компилятивном историческом произведении конца IV в., написанном на латинском языке (стр. 39—45). Это письмо, содержащее сжатую, выразительную ироническую характеристику общественных отношений в столице тогдашнего Египта — Александрии, по справедливости может быть причислено к лучшим образцам латинской стилистики.

Существует четыре возможности датировать это письмо: 1) оно является подлинным и действительно извлечено из собрания Флегонта, 2) его сфальсифицировал Флегонт, 3) его сфальсифицировал составитель „Истории Августов“ Вописк в начале IV в., 4) оно относится к 50—90-м годам IV в.

Ф. Дорнзейф, критически разобрав — и, на наш взгляд, достаточно убедительно — все указанные точки зрения, становится на сторону первого мнения и в связи с этим считает, что письмо может рассматриваться как один из ценнейших источников для истории Египта римской эпохи. Это письмо могло быть внесено в „Историю Августов“ в связи с рассказом об одном из эфемерных императоров, правивших между 276 и 284 гг., — Сатурнине, и, по словам Вописка, составителя данной части „Истории Августов“, оно заимствовано из собрания Флегонта из Траллеса Карийского, волюнотпущенника, бывшего когда-то личным секретарем императора Адриана.

Статья Маргариты Римшнейдер (M. Riemschneider) затрагивает вопрос о стиле Нонна в связи с эволюцией позднеантичного искусства (стр. 46—70). Его громадная поэма, посвященная Дионису, насчитывает 28 тыс. стихов. Автор статьи находит в стиле этого произведения преимущественно выраженную „линейность“ и усматривает в этой черте словесного искусства поздней античности параллель с портретной живописью того же периода. Линейное видение мира, характерное для стиля Нонна, связано с особенным вниманием, которое этот писатель уделяет изображению движения. Искусство Нонна, как отмечалось неоднократно, отличается стремлением к антитезам и парадоксам, острота которых и составляет существенную черту его стиля. Композиция поэмы Нонна, по наблюдениям автора статьи, также определяется отказом от какой бы то ни было пространственности в изображении.

Автору статьи удалось, на наш взгляд, показать, наряду с индивидуальными чертами в стиле Нонна как художника, также и то, что является в какой-то мере общим для всех писателей и художников поздней античности. Изучение этих особенностей помогает раскрыть закономерности развития ранневизантийской литературы и в дальнейшие периоды.

Нонну же посвящена и короткая заметка Вернера Пеека (W. Peek), сообщающая о плане комментария и словаря к поэме Нонна „Дионисиака“ (стр. 71). Над подготовкой этого издания работает в настоящее время руководимый Пееком филологический семинар в Галле-Виттенбергском университете имени Мартина Лютера.

Автор следующей статьи, Франц Циммерманн (F. Zimmermann), называет свою работу (стр. 72—81) юридическо-филологическим комментарием к повести Харитона о Тероне и Каллирое. Как известно, в этом произведении рассказывается о том, как жадный до наживы морской разбойник Терон захватил в плен дочь богатых и знатных родителей красавицу Каллирою и стремился ее поскорее и с наибольшей выгодой для себя сбыть с рук. Изображение такого сложного в юридическом отношении жизненного случая, как продажа в рабство свободной женщины, свидетельствует о том, что автор повести, Харитон, был несомненно хорошо осведомленным человеком в делах эллинистической юриспруденции. По-видимому, он в соответствии с названием повести действительно служил письмоводителем (*ὑπογραφεύς*) у адвоката (*τοῦ ῥήτορος*) Афинагора.

Ф. Циммерманн убедительно раскрывает точное юридическое и общественное значение многих слов и выражений из повести Харитона, показывая, что только их историко-правовое истолкование может помочь и филологическому анализу произведения. Мы видим, таким образом, насколько плодотворным может быть сотрудничество филологии с другими научными дисциплинами, что следует иметь в виду и нашим исследователям литературы.

Небольшая статья Курта Троя (K. Treu) посвящена вопросу о воздвигнутой Диона Хрисостома и Фемистия на речь „О царстве“ Синезия (стр. 82—92). Эта проблема, как известно, полно и убедительно раскрыта советским исследователем М. В. Левченко еще в 1953 г. (ВВ, т. VI). Проявляя свое знакомство с работой М. В. Левченко, К. Трой путем текстуальных сопоставлений доказывает особую близость к речам Фемистия написанной Синезием в 404 г. речи „Дион“. Однако, по мнению автора, эти совпадения во фразеологии не доказывают еще, что Синезий пользовался речами Фемистия в качестве непосредственного источника. Скорее они свидетельствуют об идейном единомыслии двух позднеантичных авторов, которые оказались союзниками в совместной борьбе как против бесплодного и оторванного от жизни мудрствования софистов, так и против крикливой и пустой болтовни базарных риториков. Оба автора искали возможностей создания синтеза между философией и риторикой, между содержанием и формой. Подчеркивая самостоятельное значение творчества Синезия, К. Трой стоит, несомненно, на более правильной точке зрения, чем большинство зарубежных исследователей, которые обычно видят в Синезии только простого подражателя Диона и Фемистия.

Последней в этом разделе сборника напечатана статья Ганса Диттена (H. Ditten) „Лаоник Халкокондил и румынский язык“ (стр. 93—105). Автор показывает, что названный в заглавии историк поздней Византии и свидетель ее падения — имел широкий языковедческий и этнографический кругозор. В его произведениях мы находим немало сведений о языках народов, населявших Балканский полуостров и сопредельные с ним страны. В частности, он не только устанавливает близость языка влахов — как тогда называли предков нынешних румын — с языком итальянцев, и поэтому называет их выселенцами из Италии, но и сообщает более подробные данные об их речи. Он устанавливает также, что молдаване и влахи говорят на одном и том же языке. Следует отметить, что статья Диттена также имеет точки соприкосновения с последними исследованиями византинистов из Советского Союза (Е. Б. Веселаго. Историческое сочинение Лаоника Халкокондила. — ВВ, XII, стр. 203—207) и Румынской Народной Республики (В. Греку. К во-

просу о биографии и историческом труде Лаоника Халкокондила. — ВВ, XIII, стр. 198—210). Некоторые выводы, к которым приходят названные исследователи, совпадают, хотя они работали совершенно независимо друг от друга: это является новым подтверждением того, что научные интересы и устремления византиноведов Германской Демократической Республики направлены по тому же пути, что и ученых Советского Союза и стран народной демократии.

Из семи работ, включенных в собственно исторический раздел сборника, остановимся только на четырех.

Интересна очень краткая, к сожалению, статья Герберта Шенебаума (H. Schönebaum) „К вопросу о кабарах“ (стр. 142—146). Об этом народе упоминает в 39 главе своей книги „Об управлении государством“ Константин Багрянородный. Он считает кабаров одной из племенных групп, которая после смут и восстаний в Хазарском государстве перекочевала в Венгрию и там постепенно смешалась с мадьярами. В научной литературе проблемы этнического определения этой группы, а также датировки упоминаемых Константином Багрянородным событий, представляются весьма сложными и запутанными. Г. Шенебаум, опираясь на последние исследования советского ученого С. П. Толстова, доказывает, что кабаров следует считать одним из ответвлений хорезмийцев, которые после завоевания арабами их родины откочевывают в Хазарию и вносят новый элемент в развитие культуры этой страны и способствуют распространению в ней своеобразного синкретического юдаизма. Впоследствии эта группа, после 60-летнего пребывания в северокавказских степях, уходит к венграм и там сливается с ними. В отношении этнической принадлежности автор определяет кабаров как племя иранского происхождения, подвергшееся дальнейшей тюркизации. Датировку же упоминаемых у Константина Багрянородного событий он относит к первой половине VIII в., отодвигая ее примерно на сто лет назад.

Работа Эдуарда Винтера (Ed. Winter) рассматривает вопрос об отношении папства и Византии к введению христианства на Руси (стр. 147—157).

Выяснив принципиальное различие между отношением папской дипломатии IX—X вв. и византийских государственных и церковных кругов к складывавшемуся в это время „третьему“ в Европе славянскому культурному миру, автор уделяет внимание социально-экономическим факторам общественного развития славян. В частности, он, в соответствии с использованными им работами советских исследователей, правильно определяет значение христианизации для складывания сформировавшегося в то время у славян феодального общественного строя, более прогрессивного по сравнению с разлагавшимся первобытно-общинным строем.

Новым в этой работе является привлечение материала о русско-германских связях X—XI вв., на которые до сих пор мало обращали внимания при изучении вопроса о крещении Руси. В конце статьи автор убедительно показывает, что византийскому православию удалось одолеть западное папство в их обоюдном стремлении провести христианизацию Киевской Руси тем, что именно Византия проявила большую гибкость и терпимость в вопросе развития самобытной славянской культуры.

Византия допускала большую свободу для обращенных в христианство народов в отношении культового применения их родного языка, чем Рим, отстаивавший необходимость безусловного подчинения папству и применение в церкви лишь трех священных языков: еврейского, греческого, латинского.

К статье Э. Винтера примыкает — как по месту в книге, так и по содержанию и основным выводам — работа Бруно Видеры (Bruno Widera) „Борьба Ярослава Мудрого за церковную независимость от Византии“ (стр. 158—175). Тема, многократно разрабатывавшаяся в русской и советской исторической науке, начиная с трудов М. Д. Приселкова, освещена автором статьи довольно широко. Он говорит не только об административной независимости русской церкви от константинопольского патриарха, стремление к которой проявилось, в частности, в возведении на митрополичий престол Киева Илариона, но и о тенденциях к самостоятельности в изобразительном и строительном искусстве, в музыке и в церковном пении, которые именно в этот период приобретают самобытные черты русского народного искусства.

К сказанному в статье мы можем добавить, что, по-видимому, о подобном же стремлении и культурной независимости от Византии говорит и известное сообщение „Начальной летописи“ (под 1037 г.) о том, что Ярослав „собра писцѣ многы и прекладаша от грекъ на словѣньское писмо“. В результате деятельности этой переводческой школы древнерусская литература киевского периода обогатилась множеством переводных произведений, созданных непосредственно в Киеве, и при этом переведенных не на церковнославянский, а именно на древнерусский литературный язык. Как показывают специальные исследования последнего времени, переводчики той поры не ограничивались переводом только с греческого, но смело брались за переводы и с других языков, в частности с древнееврейского, сирийского и, весьма возможно, с языков христианского Кавказа.

Следует отметить, что так же, как и Э. Винтер, Б. Видера довольно широко рассматривает сношения Киева с западноевропейским миром, в частности с Германией. Эти сношения, завершившиеся династическими браками сыновей и внуков Ярослава с представителями западноевропейских царствующих домов, несомненно имели в своей основе твердую внешнеполитическую линию со стороны киевского князя, добивавшегося своих прогрессивных по тому времени целей и укрепившего таким образом международное положение Рюриковичей.

К сожалению, нельзя не указать на довольно многочисленные и существенные неточности в русской части библиографических сносков, которые пестрят опечатками, порою искажающими смысл (стр. 163, 164, 169, 170, 173, 174 и др.).

Последняя статья в разделе истории принадлежит перу Александра Белига (A. Böhlig) и посвящена отношениям Армении и Византии в эпоху с III по XI вв. (стр. 176—187). Совершенно справедливо заявляя о том, что исследование отношений Византии со странами Востока является одной из важнейших задач исторической науки, автор статьи ставит своей целью проследить связи между Восточной Римской империей и областью Арарата, которая, как известно, в течение столетий являлась пограничной зоной и предметом раздора между Византией и Ираном.

В статье показано, как в результате ожесточенной борьбы культура армянского народа удержала свою самобытность, и вместе с тем отмечено и то положительное, что дало армянскому народу многовековое общение с Византией как хранительницей культурного наследия эллинизма.

Одну из очень интересных тем — проблему взаимоотношений между древней русской и византийской агиографией — рассматривает Ферри Лилиенфельд (F. Lilienfeld) в статье „Древнейшие русские жития

святых“ (стр. 237—271), которая едва ли правильно включена в раздел „Теология и история церкви“.

Опираясь на достижения советской науки о древнерусской литературе, статья правильно объясняет быстрый расцвет самобытной литературы на Руси в XI и начале XII в., во-первых, наличием в предшествующие века развитой традиции устного народного творчества и, во-вторых, начатками своей письменности еще до принятия христианства. Однако собственно литературные произведения появляются на Руси лишь со времени официальной ее христианизации — в XI в.

Из всех литературных жанров, представленных в письменности киевского периода, наибольшую связь с византийской литературой имеет жанр „житий“. Анализ тех из них, которые были составлены русскими авторами, доказывает, что эти последние были хорошо знакомы со многими жизнеописаниями как раннехристианских, так и византийских церковных деятелей. Именно в это время, около 1000 г. н. э., в византийской агиографии происходит сдвиг, имевший громадное историко-литературное значение. Симеон Логофет, обычно называемый Метафрастом, совершает стилистическую переработку более ранних сказаний о святых, составленных в просторечной манере и содержащих многочисленные выражения из простонародного языка. В угоду господствовавшей в то время тенденции Метафраст делает стиль византийских „житий“ изысканным и, искусственно архаизируя их язык, отрывает тем самым от обыденной разговорной речи простого народа. Такие метафрастовские переработки агиографической литературы приобретают чрезвычайно быстро широкое распространение в византийской письменности XI столетия, однако наряду с ними продолжают переписываться и распространяться и старые, дометафрастовские изводы.

Возникает чрезвычайно интересная проблема, до сих пор еще никем не исследованная и не разрешенная: с какими именно редакциями византийских житий — с метафрастовскими, стилистически обработанными, или с более древними и менее совершенными в отношении формы — связаны возникающие в это время древнерусские агиографические произведения? Исследовательница своевременно и правильно ставит этот вопрос и пытается разрешить его, анализируя главным образом древнерусские литературные произведения, имеющие отношение к культу Бориса и Глеба. (Исследованию этих произведений посвящается в наши дни немало работ как в советской науке, так и за рубежом. Автор статьи показывает свое знакомство с большинством этих исследований). Как известно, древнейшее „Житие Бориса и Глеба“ дошло до нас в трех основных редакциях: летописной, по тексту „Повести Временных лет“ под 1015 г.; так называемого „Сказания... о Борисе и Глебе“ и так называемого „Чтения“, автором которого, бесспорно, был Нестор Летописец.

Соотношение и датировка этих трех редакций до сих пор представляет собой предмет спора. В согласии с советскими исследователями автор статьи считает наиболее древней и первоначальной летописную редакцию. В отношении датировки и взаимосвязи между вторым и третьим произведениями автор статьи, приведя противоположные взгляды Шахматова и Богуславского, оставляет вопрос открытым.

Детально сопоставляя стиль летописного рассказа, в котором еще ясно проступает первоначальная „светская“ повесть о кончине двух братьев-князей, со стилем „Сказания“, автор статьи показывает, что последнее произведение сознательно перерабатывает свой первоисточник в духе тех требований, которые характеризуют метафрастовскую манеру изложения. „Чтение“ Нестора тоже стилистически перерабатывает лето-

писный рассказ, но его автор исходит из других идеологических заданий и поэтому превращает жанр „мученичества“, какими являются и летописный рассказ и „Сказание“, в жанр „жития“ в полном смысле этого слова.

Следует заметить, что в 1957 г. в XIII томе „Трудов Отдела древнерусской литературы“ появилась обстоятельная статья Н. Н. Воронина „Анонимное сказание о Борисе и Глебе, его время, стиль и автор“ (стр. 11—56). Лилиенфельд, разумеется, не могла быть знакома с выводами этой статьи, в которой доказывается, что „Сказание“ возникло позднее, чем „Чтение“, и что автором „Сказания“, по всей видимости, следует считать попа Лазаря, настоятеля церкви в Вышгороде, куда были перенесены мощи Бориса и Глеба после их канонизации. Н. Н. Воронин обосновывает свои выводы широким исследованием социальных отношений и идеологии того времени. Эти выводы, к которым приходит советский историк, несомненно, помогли бы уточнить кое-что и в разбираемой нами статье. Однако самый факт воздействия на текст „Сказания“ византийской метафрастовской агиографической манеры не может отрицаться даже и в том случае, если мы, в согласии со статьей Н. Н. Воронина, признаем попа Лазаря в качестве наиболее вероятного автора до сих пор считавшегося анонимным „Сказания“. Ведь автор при своей широкой начитанности, бесспорно, был хорошо знаком с византийской агиографией.

В качестве недостатка статьи снова следует отметить некоторую неточность в передаче цитируемых древнерусских текстов и русской части библиографических ссылок (стр. 245, сноска 5, стр. 249 и др.).

Статья Карла Розе (Karl Rose) „Слово о законе и благодати“ первого русского киевского митрополита Илариона (стр. 272—287) всесторонне рассматривает это выдающееся произведение древнерусского проповедничества, однако вносит мало нового в его историческую и литературоведческую интерпретацию. Нельзя не отметить тот восторженно-панегирический тон статьи, проявляющийся в несколько наивном идеализме при трактовке вопроса о связи древнерусской культуры с современностью, который читатели могли заметить по довольно большому отрывку, приведенному нами в начале нашего обзора.

Наконец, завершающей сборник статьей является работа Конрада Онаша (K. Opasch) „Ренессанс и предреформация в византийско-славянском православии“ (стр. 288—302), написанная в стиле широкого обзора, охватывающего время с XIII по XVI в. и все страны тогдашнего православного Востока. К сожалению, статья мало имеет дело с первоисточниками и поэтому не вносит почти ничего нового в трактовку затронутых в ней проблем. Автор не проявляет своего знакомства с некоторыми работами советских исследователей, как, например, с книгой Н. А. Казаковой и Я. С. Лурье „Антифеодальные еретические движения на Руси XIV—начала XVI века“ (М.—Л., 1955), со статьями А. А. Зимина, И. У. Будовница, А. И. Клибанова и др., которые могли бы во многом уточнить и исправить положения, высказываемые немецкими учеными.

Заканчивая свой обзор, мы можем констатировать, что сборник свидетельствует о несомненных успехах германских ученых, о плодотворности их сотрудничества с историками Советского Союза и стран народной демократии. Нельзя, однако, не высказать вместе с тем пожелания, чтобы германские византиноведы, историки и филологи быстрее преодолели те пережитки ограниченного буржуазного мировоззрения, которые до сих пор нередко все же дают себя знать в их трудах.

Н. А. Мещерский